

Г.П. Струве

О.Э. Мандельштам

Опыт биографии и критического комментария

Одну из своих автобиографических зарисовок («Музыка в Павловске») в книге «Шум времени» Мандельштам начинает с того, что вызывает в памяти «глухие годы России» — девяностые годы:

«...Их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм — тихую заводу: последнее прибежище умирающего века. За утренним чаем разговоры о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара туманные споры о какой-то “Крейцеровой сонате” и смену дирижеров за высоким пультом стеклянного Павловского вокзала, казавшуюся мне сменой династий. Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклохе приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего, и, одно к одному, — девяностые годы слагаются в моем представлении из картин разорванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни».

В «Шуме времени», на фоне эпохи, чей вкус, цвет и запах — по выражению Аполлона Григорьева — Мандельштам так остро чувствует и так тонко воспроизводит, проходят перед нами и отдельные, разрозненные моменты жизни самого автора, хотя Мандельштам и говорит, что его память «враждебна всему личному» и что ему «хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и проращением времени».

Осип Эмильевич Мандельштам родился в Варшаве 3(15) января 1891 — в самом начале этого «глухого» (чеховского!) десятилетия, которым завершился девятнадцатый век. Детство и юность свою он провел в Петербурге и Павловске. В уже цитированном автобиографическом этюде Павловск девяностых годов — «город дворцовых лакеев, действительных статских вдов, рыжих приставов, чахоточных педагогов (жить в Павловске считалось здоровее) — и взяточников, скопивших на дачу-особняк» — запечатлен как «некий Элизий», куда стремился весь Петербург:

«Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры двенадцатого года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский и Рубинштейн».

Тема Павловска и его музыкального вокзала нашла себе отражение и в поэзии Мандельштама — в прекрасном стихотворении 1921 «Концерт на вокзале», где Мандельштам перекликается с Лермонтовым: «И ни одна звезда не говорит» (перекличка с тем же стихотворением Лермонтова есть и в «Грифельной оде», одном из самых зашифрованных стихотворений Мандельштама).

Но в Павловск Мандельштамы ездили только летом, на дачу. Жили они в Петербурге, и Петербург еще более плотно и неразрывно вошел в самую ткань мандельштамовских стихов («Петербургские строфы», «Адмиралтейство», «Мне холодно. Прозрачная весна...», «В Петрополе прозрачном мы умрем...», «На страшной высоте блуждающий огонь...», «В Петербурге мы сойдемся снова...», «С миром державным я был лишь ребячески связан...» и др., а из более поздних — замечательный «Ленинград» с его зловещими образами).

Мандельштам происходил из еврейской среднебуржуазной семьи. Семья, по его собственному признанию, была «трудная и запутанная». Отец — самоучка, коммерсант-неудачник, говоривший и писавший, видимо, одинаково плохо по-русски и по-немецки (Мандельштам говорит об его «косноязычии и безъязычии»). Четырнадцатилетним мальчиком, которого готовили в раввины и которому запрещали читать светские книги, он убежал из родного дома и попал в Берлине в высшую талмудическую школу. Но вместо Талмуда читал Шиллера и философов XVIII века. По словам Мандельштама, отец переносил его в атмосферу, которая напоминала «чистейший восемнадцатый или

даже семнадцатый век просвещенного гетто где-нибудь в Гамбурге». А рядом мать, родом из Вильно, из еврейской интеллигентской семьи, родственница известного историка литературы и библиографа Семена Афанасьевича Венгерова, впитавшая русские интеллигентские и литературные традиции, владевшая чистой и ясной русской речью. И она и ее мать с гордостью произносили слово «интеллигент», любили и знали русскую литературу (о русском — материнском — «пласте» в книжном шкафу своего детства Мандельштам хорошо рассказал в «Шуме времени»). Другая же бабушка, жившая в Риге, откуда отец Мандельштама был родом, знала по-русски одно только слово: «покушали». В доме ее и дедушки, «голубоглазого старика в ермолке ... с чертами важными и немного сановными, как бывает у очень почтенных евреев», царил «черно-желтый ритуал» (см. «Хаос иудейский» в «Шуме времени»; отметим попутно, что «черно-желтая» тема мелькает и в поэзии Мандельштама; иногда это — тема Иудеи; но интересно, что в уже упоминавшемся стихотворении «Ленинград» в черно-желтые цвета окрашен петербургский декабрьский денек, «Где к зловещему дегтю подмешан желток»). И тут же рядом — и царя надо всем этим — «блистательный Санкт-Петербург», нечто «священное и праздничное» (см. «Ребяческий империализм» в «Шуме времени»). Но Петербург, с его «желтизной правительственных зданий», с правоведами, садящимися в сани, с «посольствами полумира» над Невой, все это воплощение «жесткой порфиры» государства Российского — лишь мираж, лишь сон, лишь «блистательный покров, накинутый над бездной». В одном из стихотворений начала 1930-х годов поэт говорит, что с этим «миром державным» он был «лишь ребячески связан». Этот мир плохо вязался с бытовой реальностью, «с кухонным чадом среднemannской квартиры, с отцовским кабинетом, пропахшим кожами, лайками и опойками, с еврейскими деловыми разговорами». И еще более контрастировал он с простирившимся кругом «хаосом иудейским», который был «не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался и бежал, всегда бежал». Этот хаос «пробивался во все щели каменной петербургской квартиры, угрозой разрушенья, шапкой в комнате провинциального гостя, крючками шрифта нечитаемых книг «Бытия», заброшенных в пыль на книжную полку шкафа, ниже Гете и Шиллера, и клочками черно-желтого ритуала». Этот утробный иудейский хаос («невеселые странные праздники, терзавшие слух дикими именами: Рош Гашана и Йом-Кипур») был не менее призрачен, чем фантастический мираж Петербурга. Это сочетание призрачного Петербурга и столь же призрачной — и притом немного зловещей — черно-желтой Иудеи, с ее черным солнцем, осиявшим колыбель поэта, может показаться странной питательной средой для поэта, который увлекался попеременно Бодлером и Верленом, Чаадаевым и Константином Леонтьевым, перед Первой мировой войной склонялся к католическому универсализму, а в начале революции провозглашал, что «теперь всякий культурный человек — христианин»; который отстаивал эллинистическую природу русской речи и русской поэзии и обосновывал акмеистический культ средневековья. Из дореволюционной биографии Мандельштама мы знаем отдельные, сравнительно немногочисленные факты, разбросанные в «Шуме времени» и в воспоминаниях людей, знавших Мандельштама (С. Маковского, Г. Иванова, В. Пяста, К. Мочульского, М. Карповича, М. Цветаевой, Б. Лившица, Вс. Рождественского и др.), или же упоминаемые в кратких биографических справках (в советской «Литературной Энциклопедии», в библиографических справочниках). Постоянные переезды с квартиры на квартиру, связанные, по всей вероятности, с коммерческими неудачами отца, с его периодическими «прогораниями», и придающие реальность петербургским миражам. Годы учения в Тенишевском коммерческом училище, одном из передовых тогдашних учебных заведений. О том, чем он был обязан двум директорам этого училища, А. Острогорскому и В. Гиппиусу, особенно последнему, Мандельштам сам рассказывал в «Шуме времени» (его «Тенишевское училище» интересно сравнить с воспоминаниями о той же школе В. Набокова в «Других берегах» — следует только помнить, что Набоков учился там почти на десять лет позднее, вышел

из совершенно другой среды и принадлежал к другому кругу). По-видимому, именно в старших классах Тенишевского училища Мандельштам начал писать стихи. В 1907 он едет в Париж, и с этой поездкой связано первое увлечение французскими символистами. Позднее (в 1910) Мандельштам проводит два семестра в Гейдельбергском университете, занимаясь старофранцузским языком у Фрица Неймана. В 1911 он поступает на романо-германское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета. Но, вопреки справке в «Литературной Энциклопедии», университета Мандельштам не кончил: есть сведения из заслуживающего доверия источника о том, что он провалился на экзамене по греческой литературе. Это может показаться странным, поскольку «натаскивавший» его в греческом языке К. Мочульский свидетельствует об его увлечении именно греческим языком и поэзией.

Первые известные нам стихотворения Мандельштама написаны в 1908. Появление его в литературе связано, невидимому, с возникновением «Аполлона» в конце 1909. К этому времени относится, вероятно, знакомство Мандельштама с Н. Гумилевым, перешедшее в дружбу, не прекращавшуюся до смерти старшего поэта. О первом появлении Мандельштама в редакции «Аполлона» есть красочный, но, может быть, немного шаржированный рассказ С. Маковского: Мандельштам, которому тогда было 18 лет, явился в редакцию в сопровождении матери, к которой он конфузливо льнул, и та, сунув Маковскому тетрадку, стихов сына, потребовала, чтобы он тут же сказал, есть ли у него талант и стоит ли ему писать стихи, а не заниматься торговлей кожей. Надо сказать, что то, как Маковский изображает мать Мандельштама и передает ее слова, совсем не вяжется с нарисованным самим Мандельштамом портретом женщины, воспитанной в интеллигентско-литературных традициях. Маковский говорит, что написанные бисерным почерком стихи конфузливой юноши ничем не пленили его и он уже готов был «отделаться от мамы и сына неопределенно-поощрительной формулой редакторской вежливости», когда прочел во взгляде юноши «такую напряженную, упорно-страдальческую мольбу, что сразу как-то сдался и перешел на его сторону — за поэзию, против торговли кожей», и потому объявил матери («с убеждением, даже несколько торжественно», говорит он): «Да, сударыня, ваш сын — талант». Услышав это, пишет Маковский, «юноша вспыхнул, просиял, вскочил с места и начал бормотать что-то, потом вдруг засмеялся громким, задыхающимся смехом и опять сел. Мамаша удивленно приоткрыла рот; видимо, она не ждала такого «приговора» с моей стороны. Но быстро нашлась: «Отлично, я согласна. Значит — печатайте!» Делать было нечего, говорит Маковский, и, прощаясь с Мандельштамом, он попросил его «приносить еще». Однако, если Маковский не ошибся в хронологии, первые стихи Мандельштама появились в «Аполлоне» только около года спустя — среди них были и два прелестных стихотворения 1909. Но были ли они в числе тех, которые принес тогда Маковскому Мандельштам и которые «не пленили» его, мы, конечно, не знаем.

О впечатлении, произведенном первыми напечатанными в ноябрьской книжке «Аполлона» за 1910 стихотворениями Мандельштама так писал в «Петербургских зимах» Г. Иванов:

«Я прочел это и еще несколько таких же “качающихся” туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце: “Почему это не я написал!” Такая “поэтическая зависть” — очень характерное чувство. Гумилев считал, что она безошибочнее всех рассуждений определяет “вес” чужих стихов. Если шевельнулось “зачем не я”, значит стихи “настоящие”. Стихи были удивительные. Они, прежде всего, удивляли».

К тому же времени относится и появление Мандельштама на «башне» у Вячеслава Иванова, чтение им там своих стихов, а затем участие в основанном Гумилевым и Городецким Цехе Поэтов. В. Пяст в своей книге «Встречи» вспоминает как на лекцию Вяч. Иванова о стихосложении — лекцию, происходившую на «башне» у Ивановых, — поэт В. Гофман, вскоре после того покончивший с собой, пришел в сопровождении Мандельштама, которого Пяст описывает так: «Совсем молодой стройный юноша

в штатском костюме задирает голову даже не вверх, а прямо назад: столько чувства собственного достоинства бурлило и просилось наружу из этого молодого тела». После лекции Мандельштаму предложили прочесть стихи. Вяч. Иванов их похвалил («это было его всегдашним обыкновением», прибавляет Пяст); сам же Пяст нашел одно из прочитанных Мандельштамом стихотворений замечательным.

Начав печататься в «Аполлоне», подружившись с Гумилевым, войдя в Цех Поэтов, Мандельштам оказался в самой гуще тогдашней литературной борьбы. Он принял самое живое участие в боях за акмеизм, борясь и «направо» — с символистами, и «налево» — с футуристами. Акмеистического задора в нем, пожалуй, даже больше, чем в самом Гумилеве — об этом свидетельствует, например, его задористо-обиженное письмо Ф. Сологубу. Статья Мандельштама «Утро акмеизма», напечатанная впервые в 1919 в альманахе «Сирена» в Воронеже (едва ли Мандельштам мог тогда предвидеть, какую роль сыграет этот город в его жизни!), носила характер манифеста и именно как манифест акмеизма была уже в советский период включена в сборник «Литературные манифесты. От символизма к Октябрю» (1928). Советским литературоведом Н. Харджиевым как будто установлено, что статья эта написана еще в 1912 и должна была быть напечатана, вместе с двумя другими «манифестами» акмеизма, в № 1 «Аполлона» за 1913. В этой статье Мандельштам провозглашал родство акмеизма с «физиологически-гениальным средневековьем». А в более поздней статье, напечатанной в 1922, акмеизму приписывался переворот в литературных вкусах, и он провозглашался явлением не только литературным, но и общественным, возродившим в русской поэзии нравственную силу и положившим конец «убоному “ничевочеству” декадентов-символистов».

В 1913 вышла первая книга стихов Мандельштама, «Камень». Изданная им на собственные деньги, она вышла под маркой издательства «Акмэ». Первоначально этот первый сборник должен был называться «Раковина» — так было озаглавлено одно стихотворение в книге. В 1916 в издательстве «Гиперборей», основанном при Цехе Поэтов, вышло второе, значительно дополненное, издание «Камня». В эти же предреволюционные годы Мандельштам напечатал в «Аполлоне» две интересные статьи — о Франсуа Вийоне и о Чаадаеве. Эти статьи, вместе с более поздними литературно-критическими опытами, дают Мандельштаму видное и прочное место в истории русской критики и эссеистики.

На войну 1914 года Мандельштам откликнулся несколькими стихотворениями. Хотя некоторые из них и навеяны конкретными событиями, они носят по большей части отвлеченный характер, написаны в историософском плане (как раз в эти годы Мандельштам увлекался Чаадаевым и отчасти Константином Леонтьевым). Прямого отношения к войне Мандельштам не имел, на военную службу призван не был. В 1916 Мандельштам провел какое-то время в Крыму (куда снова попал уже во время гражданской войны и затем опять в начале 1930-х), и Крымом навеяны некоторые из лучших стихотворений в его второй книге стихов — «Tristia».

Во вступительной статье к нью-йоркскому изданию сочинений Мандельштама я писал, что у него нет непосредственных откликов на революционные события 1917. Но это утверждение было не совсем правильно: прямым откликом на большевистский переворот, с упоминанием даже имени А. Керенского, является напечатанное в эсеровской газете и не вошедшее ни в один из сборников стихов поэта стихотворение «Когда октябрьский нам готовил временщик...». Как удалось установить уже после выхода нью-йоркского издания, политический смысл имело и стихотворение «Среди священников левитом молодым...». Отголоски революционных дней налицо и в некоторых других стихотворениях. Но в надреальном плане — а большая часть стихотворений Мандельштама отмечена двухпланностью — темы революции (умирающий Петербург, «сумерки свободы») звучат в ряде стихотворений 1917–1922 («На страшной высоте блуждающий огонь...», «Сумерки свободы», «О этот воздух, смутой пьяный...», «В Петербурге мы сойдемся снова...»).

О жизни Мандельштама в самые первые годы революции мы знаем мало. Мало у нас и прямых свидетельств о его отношении к революции. И Г. Иванов, и С. Маковский в своих воспоминаниях (причем последний, вероятно, понаслышке или на основании того, что писал Иванов, так как сам он уехал в Крым в самом начале революции) говорят о «приспособлении» Мандельштама к новому режиму. Иванов в «Петербургских зимах» писал, что после Октябрьской революции Мандельштам «оказался “на той стороне” — у большевиков». Но сейчас же делал оговорку: «Точнее — около большевиков». Не приводя никаких фактов, Иванов говорил затем, что в партию (коммунистическую) Мандельштам не поступил («по робости, должно быть: придут белые — повесят»), «товарищем народного комиссара не пристроился». Но, писал дальше Иванов (и опять без всяких настоящих доказательств), «терся где-то около, кому-то льстил, какие-то руки, которые не следовало пожимать, пожимал и какими-то благами за то пользовался». Впрочем, Иванов снисходительно готов был простить Мандельштаму эти прегрешения:

«Это было, конечно, не совсем хорошо, но и не так уж страшно, если подумать, какой безответственной (притом голодной, беспомощной, одинокой) “птицей Божьей” был Мандельштам. Да и не одному ему из “литераторов российских” и отнюдь, при этом, не “птицам” вроде Мандельштама, увы, придется элегически вздохнуть: Какие грязные не пожимал я руки, — Не соглашался с чем...».

С. Маковский вторил Иванову, говоря, что Мандельштам пробовал «сменить вехи», завязал дружбу с влиятельными литературными кругами: «в качестве писателя-плебея по происхождению и вольнодумца без политических предубеждений, Осип Эмильевич попытался у жизни взять то, в чем она ему отказывала прежде». Все это — очень туманно, неконкретно, бездоказательно. Есть, правда, указание (в показании Держинского по делу об убийстве графа Мирбаха, о чем будет еще речь ниже) на то, что Мандельштам служил где-то под Луначарским, то есть в одном из многочисленных литературно-художественных учреждений при Комиссариате Народного Просвещения. То же самое делали в то время и многие другие писатели и деятели искусства. И Иванов, и Маковский совершенно игнорируют (вероятно, по незнанию) факт сотрудничества Мандельштама в антибольшевистских газетах, и эсеровских и кадетских, не только в 1917, но и в 1918, и такие его стихотворения, как «Когда октябрьский нам готовил временщик...» и «А.В. Карташеву», равно как и его статью об акмеизме, далеко не свидетельствующую о приспособлении к «влиятельным литературным кругам», каковыми в те годы были футуристы и имажинисты.

Об одном эпизоде в жизни Мандельштама в 1918 Георгий Иванов рассказывал очень красочно, с большими подробностями. Хотя прямо Иванов этого не говорит, рассказ его как будто основан на рассказе самого Мандельштама (часть его дана в форме вопросов Иванова и ответов Мандельштама о том, как было дело — но, очевидно, по прошествии уже довольно продолжительного времени после описываемых событий). Эпизод этот — столкновение на одной «попойке» в каком-то большевистском особняке в Москве с левым эсером-чекистом Блюмкиным, который после того застрелил германского посла графа Мирбаха. В рассказе Иванова — как вообще нередко в его «Петербургских зимах» — смешение фактов с вымыслом, несомненная хронологическая путаница и какой-то неприятный тон — тон насмешливо-снисходительного презрения («Божья птица», пристроившаяся к этой икре, к этим натопленным и освещенным комнатам, к «ассигновке», которую Каменева завтра выпишет, если сегодня ей умело польстить»). Приведем все же рассказ Иванова о самом эпизоде, поскольку рассказ этот все-таки несомненно основан на ретроспективном рассказе самого Мандельштама, а лежащий в основе его факт подтверждается другими источниками. «Воображенные» подробности оставляем на совести Г. Иванова:

«Все пьяны, Мандельштам тоже навеселе. Немного, потому что пить не любит. Он больше насчет пирожных, икры, “ветчинки”... “Коалиция” пьет. Мандельштам ест икру и пирожные, Каменева на тонкую лещь мило улыбнулась и сказала: “Зайдите завтра к моему секретарю”. “Пупсик” гремит. Тепло. Все хорошо. Все приятно. И... много пить не следует, но рюмку-другую... Но вдруг улыбка на лице

Мандельштам как-то бледнеет, вянет, делается растерянной... Что такое? Выпил лишнее? Или пепел душистой хозяйской сигары прожег сукно только что с такими хлопотами сшитого костюма? Или зубы, несчастные его зубы, которые вечно болят, потому что к дантисту, который начнет их сверлить, пойти не хватает храбрости, — зубы эти заныли от сахара и конфет? Нет, другое.

С растерянной улыбкой, с недоеденным пирожным в руках, Мандельштам смотрит на молодого человека в кожаной куртке, сидящего поодаль. Мандельштам знает его. Это Блюмкин, левый эсер.

Знает и боится, как боится, впрочем, всех кто в кожаных куртках. Он решительно предпочитает мягко поблескивающие золотые очки Луначарского, или надушенные, отманикюренные ручки Каменевой. Кожаные куртки его пугают, этот же Блюмкин особенно. Это чекист, расстрельщик, страшный, ужасный человек... Обыкновенно Мандельштам старается держаться от него подальше, глазами боится встретиться. И вот, теперь смотрит на него, не сводя глаз, с таким странным, жалким, растерянным видом. В чем дело?

Блюмкин выпил очень много. Но нельзя сказать, чтобы он выглядел совершенно пьяным. Его движения тяжелы, но уверены. Вот он раскладывает перед собою на столе лист бумаги — какой-то список, разглаживает ладонью, медленно перечитывает, медленно водит по листу карандашом, делая какие-то отметки. Потом как-то тяжело, но уверенно, достает из кармана своей кожаной куртки пачку каких-то ордеров.

— Блюмкин, чем ты там занялся? Пей за революцию ...

И голосом таким же тяжелым, с трудом поворачивающимся, но уверенным, тот отвечает:

— погоди, выпишу ордера... контрреволюционеры... Сидоров? А, помню. В расход. Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно, в расх...

Вот на это-то смотрит, это и слушает Мандельштам. Бездомная птица Божья, залетевшая сюда погреться, поклевать икры, выпросить “ассигновочку”.

Слышит и видит:

...Сидоров? А, помню, в расх...

Ордера уже подписаны Дзержинским. Заранее. Печать приложена. “Золотое сердце” доверяет своим сотрудникам всецело. Остается только выписать фамилии и... И вот над пачкой таких ордеров тяжело, но уверенно поднимается карандаш пьяного чекиста.

... Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно...

И Мандельштам, который перед машинкой дантиста дрожит, как перед гильотиной, вдруг вскакивает, подбегает к Блюмкину, выхватывает ордера, рвет их на куски.

Потом, пока еще ни Блюмкин, никто не успел опомниться — опрометью выбегает из комнаты, катится по лестнице и дальше, дальше, без шапки, без пальто, по ночным московским улицам, по снегу, по рельсам, с одной лишь мыслью: погиб, погиб...»

Дальше Иванов рассказывает, как, пробродив всю ночь по улицам Москвы, Мандельштам явился в Кремль к Каменевой, как та послала его тотчас же принять ванну, переодеться, почиститься, затем напоила чаем и повезла к «самому» Дзержинскому. Этот визит к главе ЧК, о котором Иванов мог слышать только от самого Мандельштама, и то, что последовало за ним, описаны у Иванова так:

«Дзержинский принял сейчас же, выслушал внимательно Каменеву. Выслушал, потербил бородку.

Встал. Протянул Мандельштаму руку. — Благодарю вас, товарищ. Вы поступили так, как должен был поступить всякий честный гражданин на вашем месте. В телефон: — Немедленно арестовать тов. Блюмкина и через час собрать коллегия ВЧК для рассмотрения его дела.

И снова к дрожащему дрожью счастья и ужаса Мандельштаму:

— Сегодня же Блюмкин будет расстрелян.

— Тттоварищ... — начал Мандельштам, но язык не слушался, и Каменева уже тянула его за рукав из кабинета. Так и не выговорил того, что хотел выговорить: просьбу арестовать Блюмкина, сослать его куда-нибудь (о, еще бы, какая же, если Блюмкин останется в Москве, будет жизнь для Мандельштама!). Но... “если можно”, не расстреливать.

Но Каменева увела его из кабинета, довела до дому, сунула в руку денег и велела сидеть два дня, никуда не показываясь — “пока вся эта история не уляжется” ...

Выполнить этот совет Мандельштаму не пришлось. В 12 дня Блюмкина арестовали. В два — над ним свершился “строжайший революционный суд”, а в пять какой-то доброжелатель позвонил Мандельштаму по телефону и сообщил: «Блюмкин на свободе и ищет вас по всему городу».

Факты, приводимые Ивановым в последнем процитированном абзаце, как будто не соответствуют действительности. Дальше же, внося в свой рассказ полнейшую хронологическую путаницу, Иванов говорит, что Мандельштам «вздыхнул свободно» только через несколько дней, «когда оказался в Грузии», прибавляя: «Как он добрался туда, одному Богу известно»; а о Блюмкине пишет, что он через несколько месяцев

«провинился “посерьезнее”, чем подписывание в пьяном виде ордеров на расстрел: он убил графа Мирбаха».

На самом деле описанный Ивановым эпизод имел место совсем незадолго до убийства Мирбаха, которое произошло в три часа дня 6 июля 1918. Мандельштам же попал в Грузию только в 1920, перебравшись туда из врангелевского Крыма, где провел довольно долгое время, живя в Феодосии и у Максимилиана Волошина в Коктебеле. В Крым Мандельштам попал еще в 1919 из Киева. Но когда он выбрался из большевистской России на юг, и бежал ли он так уж поспешно от «мести» Блюмкина, нам неизвестно.

Свой рассказ о Мандельштаме и Блюмкине Иванов заканчивает упоминанием о том, что, когда Мандельштам вернулся из Грузии, откуда ему друзья грузинские поэты «выхлопотали высылку», первым человеком, которого он встретил в Москве в Кафе поэтов, был... Блюмкин. Эту встречу Иванов описывает не менее красочно, чем все предшествующее:

«Мандельштам упал в обморок. Хозяева кафе — имажинисты — уговорили Блюмкина спрятать маузер. Впрочем, гнев Блюмкина, по-видимому, за два года поостыл: Мандельштама, бежавшего от него в Петербург чуть ли не в тот же вечер, он не преследовал».

Единственный другой источник нашей информации об истории между Мандельштамом и Блюмкиным — показание Дзержинского по делу об убийстве гр. Мирбаха, напечатанное в официальном сборнике документов по истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией. Рассказав сначала о первых сведениях о готовящихся покушениях на чинов германского посольства в Москве — сведениях, которые Дзержинский и его сотрудники по проверке и в результате одного обыска сочли «шантажем» — Дзержинский перешел к роли своего заместителя Александровича и Блюмкина во всем деле. Вот что он заявил:

«Александрович был принят в комиссию в декабре прошлого года в качестве товарища председателя по категорическому требованию членов Совнаркома — левых с.-р. Права его были такие же как и мои, он имел право подписывать все бумаги и делать распоряжения вместо меня. У него хранилась большая печать, которая была приложена к подложному удостоверению от моего якобы имени, при помощи которого Блюмкин и Андреев (сообщник Блюмкина, явившийся вместе с ним к Мирбаху) совершили убийство. Блюмкин был принят в комиссию по рекомендации ЦК левых с.-р. для организации в контрреволюционном отделе контрразведки по шпионажу. За несколько дней, может быть за неделю, до покушения я получил от Раскольниковых и Мандельштама (в Петрограде работает у Луначарского) сведения, что этот тип позволяет себе говорить такие вещи: жизнь людей в моих руках, подпишу бумажку — через два часа нет человеческой жизни. Вот у меня сидит гр. Пусловский, поэт, большая культурная ценность, подпишу ему смертный приговор, но, если собеседнику нужна эта жизнь, он ее оставит, и т. п. Когда Мандельштам возмущенно запротестовал, Блюмкин стал ему угрожать, что, если он кому-нибудь скажет о нем, он будет мстить всеми силами. Эти сведения я тотчас же передал Александровичу, чтобы он взял от ЦК объяснения и сведения о Блюмкине для того, чтобы предать его суду. В тот же день на собрании комиссии было решено по моему предложению нашу контрразведку распустить и Блюмкина пока оставить без должности. До получения объяснений от ЦК левых с.-р. я решил о данных против Блюмкина комиссии не докладывать. Блюмкина я ближе не знал и редко с ним виделся».

Имя Мандельштама упоминается Дзержинским еще раз в его показании; рассказывая о том, как он узнал об убийстве Мирбаха по прямому проводу от Ленина и сейчас же поехал в германское посольство, где ему показали подложное удостоверение, подписанное его именем и дававшее Блюмкину и Андрееву полномочия просить по делу аудиенции у Мирбаха, Дзержинский сказал:

«Мне сразу стало все ясно. Фигура Блюмкина ввиду разоблачения его Раскольниковым и Мандельштамом сразу выяснилась как провокатора. Партию левых с.-р. я не подозревал еще, думал, что Блюмкин обманул ее доверие. Я распорядился немедленно отыскать и арестовать его (кто такой Андреев, я не знал)...»

Показание Дзержинского было дано 10 июля — через четыре дня после убийства Мирбаха (за два дня до этого Дзержинский просил освободить его от обязанностей председателя ВЧК именно ввиду необходимости давать показания по этому делу; он был восстановлен в должности в августе того же года). Это показание косвенно подтверждает

рассказ Г. Иванова, более или менее приурочивает эпизод к концу июня 1918, но не дает никаких подробностей ни столкновения с Блюмкиным (кроме «возмущения» Мандельштама), ни того, как он, Держинский, получил сведения от Мандельштама. Фамилия Каменевой не упоминается вовсе (может быть, ее имя было просто «вычищено» из показания задним числом). Зато упоминается Раскольников. Правда, остается неясным, получил ли Держинский информацию от Раскольникова и Мандельштама по отдельности или от обоих совместно. Но более чем допустимо предположить, что Мандельштам явился к Держинскому в сопровождении Раскольникова, которого он должен был знать через его жену, поэтессу Ларису Рейснер. С последней Мандельштам был хорошо знаком по литературным кругам еще до революции (об одной более поздней встрече между ними мы расскажем ниже). Как Мандельштам познакомился с Блюмкиным, мы не знаем; может быть через тех же Раскольниковых. Похоже, что у Блюмкина было тяготение к поэтам, что он был знаком не только с Мандельштамом, но и с Гумилевым: не к Блюмкину ли относятся следующие строки в стихотворении Гумилева «Мои читатели» в «Огненном столпе» (хотя обстоятельства убийства Мирбаха изображены в них, пожалуй, и не совсем точно: «среди толпы народа»):

Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подшел позать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи?

Слова Держинского о том, что он велит расстрелять Блюмкина, были почти наверное присочинены если не самим Мандельштамом в рассказе Иванову, то Ивановым: нет оснований не верить Держинскому, что он ограничился запросом о Блюмкине через Александровича и что только после убийства Мирбаха был отдан приказ об аресте Блюмкина. Загадочным представляется упоминаемый Держинским в рассказе о Блюмкине и Мандельштаме «гр. (граф? гражданин?) Пусловский»: о таком поэте как будто никто никогда не слышал.

Куда и когда уехал Мандельштам после истории с Блюмкиным, остается неизвестным; может быть, никуда и не уезжал. Есть у него стихотворения, датированные «Москва, май 1918», то есть предшествующие эпизоду с Блюмкиным. Другие стихотворения, носящие дату «1918» или «1919», не дают никакого ключа к месту написания. Но в какое-то время в 1919 Мандельштам был уже в Киеве и принимал участие в тамошней литературной жизни, сотрудничая, между прочим, в журнале «Гермес». В Киеве встречались с ним и об этих встречах рассказали И. Эренбург, Ю. Терапиано и Ю. Трубецкой. В том же году (в конце его?) Мандельштам уехал из Киева в Крым, где в Феодосии снова догнал его Эренбург, посвятивший ему в книге «Люди, годы, жизнь» много теплых страниц, хотя и оставивший много недоговоренного. О встречах с Мандельштамом в Феодосии были напечатаны также (в нью-йоркском «Новом Русском Слове») воспоминания И. Мабо-Азовского. В какой-то момент, при обстоятельствах никем в точности не рассказанных, хотя об этом упоминают и Эренбург, и другие, Мандельштам был арестован врангелевской полицией — вероятно, по какому-нибудь нелепому доносу. Во всяком случае он был вскоре освобожден — невидимому, в результате вмешательства М. Волошина, у которого он одно время жил в Коктебеле: Волошин, как известно, в те годы не раз спасал и красных от суда белых, и белых от суда красных. Должно быть, вскоре после своего освобождения (точными датами для биографии Мандельштама мы до сих пор не располагаем), еще при Врангеле, Мандельштам покинул Крым и переехал в Грузию, в то время независимую и управлявшуюся меньшевистским правительством. Сначала он жил в Батуме, потом в Тифлисе (Тбилиси), где с ним снова съехался Эренбург. В Грузии Мандельштам тоже был арестован, причем, если верить Эренбургу, его обвиняли одновременно и в том, что он агент большевиков, и в том, что он подослан Врангелем. По-видимому, осенью 1920 Мандельштам и его брат Александр возвратились из Тифлиса в Москву — «в свите» Эренбурга, которому

советский представитель в Грузии предложил поехать в Москву в качестве советского дипломатического курьера. Эренбург устроил Мандельштама в свою «дипломатическую миссию», в которую входили также один красный моряк и один молодой актер МХАТа. Об этом путешествии Эренбург рассказал в своей книге мемуаров.

Мандельштам, очевидно, недолго пробыл в Москве: в октябре 1920 он был уже в Петрограде, как об этом свидетельствует интересная запись в дневнике А. Блока под датой «22 октября 1920». В этой записи Блок рассказывает о вечере в клубе поэтов на Литейном, состоявшемся накануне:

«Верховодит Гумилев — довольно интересно и искусно. Акмеисты, чувствуется, в некотором заговоре, у них особое друг с другом обращение. Все под Гумилевым.

Гвоздь вечера — И. Мандельштам¹, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос, сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь... виден артист. Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противуположность моему). Его «Венеция»². По Гумилеву — рационально все (и любовь и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только в языке, в его корнях, невыразимое (В начале было Слово, из Слова возникли мысли, слова уже непохожие на Слово, но имеющие, однако, источником Его; и все кончится Словом — все исчезнет, останется одно Оно)».

Эта запись интересна, потому что в ней мы находим единственное сколько-нибудь распространенное — и притом положительное — суждение Блока о поэзии Мандельштама. В дореволюционных письмах и дневниках Блока имя Мандельштама упоминается вскользь — почти всегда в связи с Пястом: они встречаются или у Пяста или в компании с Пястом. В одной из дневниковых записей 1911 попадает слово (притом подчеркнутое) «Мандельштамье» — не совсем ясно, прилагательное это или существительное. Только раз до революции говорит Блок о Мандельштаме как поэте: критикуя в письме Белому альманах «Мусажета», Блок пишет[^]

«Отчего Рубанович второго сорта, когда у нас есть Рубанович лучшего сорта (по имени Мандельштам)?»

Видимо, только в 1920 Блок оценил по-настоящему Мандельштама-поэта.

В интересных воспоминаниях Е. Тагер, полученных мною из России и опубликованных в нью-йоркском «Новом Журнале», есть рассказ о встрече нового 1921 года в Петрограде, в «Сумасшедшем Корабле», то есть в Доме Искусств. Автор воспоминаний только что вернулась из постигнутого голодом Поволжья. Приводим ее рассказ:

«...Люди усердно старались казаться живыми, а я не могла отделаться от ощущения, что брожу среди призраков. Уж очень не совпадали мои поволжские впечатления с этими нарядами, с этими яркими губами, с этими псевдобеззаботными разговорами.

У меня завязалась тихая беседа с Мандельштамом. Мы углубились в какие-то давние воспоминания, когда перед нами возникла блистательная Лариса Рейснер. В живописном платье из тяжелого зеленого шелка, соблазнительная и отлично это знающая, она стояла как воплощение жизненной удачи, вызывающего успеха, апломба. Какой контраст с тем, что я видела в глубине России! Какой невыносимый контраст.

Я что-то сказала Мандельштаму относительно этого контраста, этого страшного разрыва между социальными группами, между теми невероятными трудностями, с которыми борется русская провинция, русская деревня, и этим привилегированным, пресыщенным, беспечальным существованием.

Мандельштам из-под густых ресниц рассматривал великолепную Ларису и внушительно говорил:

— Совсем недавно еще она была в нашем положении. И надо сознаться, что она его переносила неплохо. А теперь...

— А теперь она блистает в вашем кругу.

— Мы приняли ее в наш круг не потому, что она занимает блестящее положение, а несмотря на то, что она его занимает...»

¹ Так у Блока. Сам Мандельштам никогда себя И о с и ф о м не называл.

² Речь идет, очевидно, о стихотворении «Венецианской жизни мрачной и бесплодной...»; по всей вероятности, Мандельштам читал его на вечере; оно помечено 1920 годом и написано, должно быть, в Крыму.

С 1920 Мандельштам снова поселяется в Петербурге. В 1922 выходит в издательстве «Петрополис», с пометой «Петербург — Берлин» и по старой орфографии, вторая книга его стихов — «Tristia» включающая около пятидесяти стихотворений, одно другого лучше (многие из них были написаны в Крыму). Одновременно стихи Мандельштама печатаются в многочисленных в первые годы нэпа альманахах и журналах, иногда одно и то же стихотворение в двух-трех различных изданиях более или менее одновременно (в некоторых случаях это — перепечатка стихов, появившихся ранее в разных эфемерных публикациях). В 1923 переиздаются в России «Tristia», с добавлением некоторых новых стихотворений и под названием «Вторая книга» (первое издание этого сборника было в сущности заграничным). Для хлеба насущного Мандельштам занимается в годы нэпа переводами — с французского, немецкого и английского.

В 1922 Мандельштам женится на Надежде Яковлевне Хазиной, сестре поэта Евгения Хазина. Знакомство их относится еще к 1919. О пребывании «Нади Хазиной» в Киеве в 1919 упоминает Эренбург, прибавляя, что она позднее стала женой Мандельштама. Факт женитьбы Мандельштама долго оставался неизвестен многим за границей. Едва ли не первым упоминанием его в печати была довольно странная фраза в воспоминаниях С. Маковского о Мандельштаме: говоря о том, что после прихода большевиков к власти Мандельштам старался брать от жизни что мог, Маковский прибавлял: «Даже — как это ни покажется невероятным — женился на молодой актрисе». Позднее Георгий Иванов в рецензии на нью-йоркское издание сочинений Мандельштама в «Новом Журнале» отмечал, что редакторам его факт женитьбы Мандельштама остался неизвестен. Сам он при этом не называл имени жены Мандельштама и не указывал года женитьбы, но прибавлял, что у Мандельштама была дочь и что к ней относится одно его стихотворение 1923 («Пылает за окном звезда...»). Из того, что стало известно с тех пор о жизни Мандельштама, мы можем заключить, что брак его был счастливым и что он не мог представить себе жизни без своей «нежненьки», как он называл жену (есть, впрочем, сведения о том, что в самом начале 1930-х он пережил большое увлечение одной молодой поэтессой, нашедшее отражение и в его поэзии). Н.Я. сопровождала его дважды в ссылку, и только в последнее роковое изгнание он должен был отправиться один. Будь с ним Н.Я., она, может быть, дала бы ему силы и возможность пережить все выпавшие на его долю испытания. Н.Я. до сих пор жива. Она преподавала еще в начале 1960-х английский язык в одном из провинциальных городов Советского Союза, а теперь вышла на пенсию и живет в Москве. Что же касается дочери Мандельштамов, то она оказалась «игрой воображения» Георгия Иванова.

В 1925 вышла первая книга прозы Мандельштама — «Шум времени». В 1928 она была переиздана под названием «Египетская марка», с присоединением одноименной повести, напечатанной в промежутке в одном из советских журналов. В том же 1928 появилось и первое собрание стихотворений Мандельштама, в которое вошли стихи из первых двух его книг, а также стихи, написанные между 1921 и 1925. В том же году увидел свет и сборник литературно-критических статей Мандельштама «О поэзии». 1928 год, таким образом, — вершина литературного пути Мандельштама. Советская критика, отмечая по обязанности несозвучность Мандельштама советской эпохе, отзывалась вместе с тем о всех трех книгах, как о значительных литературных явлениях. Так, по поводу «Стихотворений» Н. Степанов в «Звезде» писал:

«Современная поэзия идет путями в значительной мере иными, чем те, которые утверждены Мандельштамом, но тем не менее пройти мимо него она не может... Высоким мастерством, совершенством словесной работы радуют стихи О. Мандельштама. Мандельштам, вероятно, один из наиболее “взыскательных художников”... Стихи его стоят вне злободневных споров, а являются образцом большой поэтической культуры, тесно примыкающей к современной поэзии».

В другом советском журнале, в «Новом Мире», М. Рудерман характеризовал стихи Мандельштама как «интересное, значительное, но уже минувшее явление русской поэзии», и писал, что «в его торжественных и медлительных строфах, в конкретных

и смелых эпитетах, в зрительных образах, в тонкой мелодической инструментовке — та сложная простота, о которой мечтают многие современные эпигоны классиков». Необходимо отметить, что в эти же годы зарубежные русские поэты и критики склонны были видеть в поэзии Мандельштама признаки упадка; это относится и к обычно не сходящимся ни в чем Ходасевичу и Г. Иванову, и к Н. Оцупу, хотя последний и делал исключение для некоторых стихотворений.

Не прошла незамеченной и проза Мандельштама. В интересном анализе «Египетской марки» и «Шума времени» (первоначально в «Звезде», потом — в распространенном виде — в книге «Текущая литература») Н. Берковский писал:

«В советскую прозу несут сейчас лучшие вклады поэты. Отличный писатель Бабель временно выпал из литературы, и поэтический триумвират Мандельштам — Пастернак — Тихонов в мастерстве прозаической речи идут, быть может, первыми; маленькая книга Мандельштама может требовать напряженного к себе внимания».

Книга «О поэзии», в виду своего теоретического характера и отказа от всякой попытки подладиться к партийным требованиям от литературы, хотя бы во фразеологии, вызвала, разумеется, гораздо более отрицательное отношение. Но и с ней советские критики не могли не считаться. В журнале «Печать и Революция» ей посвятил более трех двухстолбцовых страниц мелкого шрифта небезызвестный О. Бескин. От него Мандельштаму досталось за его антиматериализм и за отказ «ревизовать свои старые позиции». Отстаивание акмеистических теорий через десять с лишним лет после Октябрьской революции было объявлено «мракобесием и реакционностью».

После 1928 Мандельштам новых книг уже не выпускал. Именно с этого года учащаются нападки на него. Против него выдвигаются обвинения в плагиате — в связи с переводом «Тили Уленшпигеля», в котором он якобы использовал более ранний перевод известного и весьма почтенного критика и литературоведа А. Горнфельда, ученика Потебни и до революции главного критика народнического «Русского Богатства». Имел ли сам Горнфельд какое-нибудь отношение к этим обвинениям, остается неясным, хотя Мандельштам в автобиографической «Четвертой прозе» и ополчается довольно грубо против него. Главным застрельщиком в кампании против Мандельштама был известный перевертень Д. Заславский, бывший меньшевик, сотрудник дореволюционного «Дня», занимавший в 1917 очень решительную антибольшевистскую позицию, но потом быстро переключившийся. Мандельштам протестовал против травли со стороны Заславского в письме в редакцию «Литературной Газеты». Протест его был поддержан одиннадцатью видными советскими писателями и критиками, в числе которых были не только Пильняк. Пастернак, Федин, Леонов, Зощенко, Олеша и другие «попутчики», но и такие заядлые рапповцы как Фадеев и Авербах. Несмотря на эту кампанию против него и на то, что Мандельштам все больше чувствовал себя гонимым, стихи его продолжали печататься в конце 1920-х и начале 1930-х в ряде советских изданий: в «Звезде», в «Новом Мире», в «Литературной Газете». В 1930 Мандельштам совершил путешествие в Армению и тогда же написал цикл стихов об Армении. В 1933 он напечатал в «Звезде» путевые очерки об этом путешествии. Последними стихотворениями Мандельштама, появившимися при его жизни в печати, были, насколько нам удалось установить, три стихотворения в номере «Литературной Газеты» от 23 ноября 1932: «Ленинград», «Полночь в Москве» и «К немецкой речи». После 1933 года и до совсем недавнего времени мы уже не находим подписи Мандельштама в советских изданиях. О нем, правда, еще пишут во второй половине тридцатых годов и даже позже, но почти всегда в контексте прошлого русской поэзии, как о дореволюционном поэте, в обзорных статьях и книгах, например в книгах А. Волкова «Поэзия русского империализма» (1935) и «Очерки русской литературы конца XIX и начала XX веков» (1938) и Б. Михайловского «Русская литература XX века» (1939), а также в книге О. Цехновицера о литературе первой мировой войны (1938). Но уже в первой из названных книг Волкова появилась явная тенденция отрицать у Мандельштама хотя бы те качества, которые более или менее единодушно признавала за ним

предшествующая критика — его «конкретность» и его «высокую поэтическую культуру». В «Литературной Энциклопедии», соответствующий том которой вышел в 1932, Мандельштам еще был удостоен довольно пространной статьи А. Тарасенкова, который потом, в период ждановщины, в подхалимском усердии каялся, бия себя в грудь, в том, что слишком положительно оценивал Пастернака. Но в Большой Советской Энциклопедии статьи о Мандельштаме уже нет, хотя имя его и упоминается в статье «Акмеизм» (в Малой Советской Энциклопедии, вышедшей еще в 1929, имеется малозначащая анонимная справка). Не попал Мандельштам и в новое издание Большой Энциклопедии, том которой на букву «М» вышел уже после смерти Сталина. Есть все основания думать, что Мандельштам никогда не был членом Союза Советских Писателей. Имя его совершенно не упоминалось в связи с первым писательским съездом в 1934, даже в докладе Бухарина, в котором была дана более или менее объективная оценка нескольких «несозвучных» поэтов. Впрочем, как теперь стало известно, ко времени писательского съезда Мандельштам уже находился в ссылке, и писатели, очевидно, не решались вспоминать его имя.

Для характеристики обстановки и атмосферы, в которых жил Мандельштам в начале 1930-х, приведем еще выдержки из воспоминаний Е. Тагер. Характеризуя тогдашнюю общую литературную обстановку, автор пишет:

«Люди большой литературной культуры (Стенич) говорили о Мандельштаме, не боясь слова “гениальность”; называли Осипа Эмильевича в ряду лучших русских поэтов. Литературные прихлебатели, которых в Доме Печати было хоть пруд пруди, — повторяли анекдоты насчет его заносчивости, неуживчивости и даже невменяемости. По-видимому, друзей у него было немного.

Тон в литературных организациях задавали вожаки РАППа... Возникли высочайшие салоны, династически и идеологически связанные с органами госбезопасности. На этой почве культивировалась литература — в небольших количествах, и авантюра — в количествах чрезвычайных. Возникли убийственные методы литературной полемики. Судя по всему, в одном из таких высоких московских салонов зародилась формулировка “внутренний эмигрант” применительно к Мандельштаму. Спущенная сверху, формулировка эта вскоре докатилась до литературных коридоров. В условиях культа личности писатель с таким штампом мог смело считать себя обреченным».

Та же Е. Тагер рассказывает, как после ликвидации РАППа в 1932 Ленинградский Дом Печати предоставил свою трибуну для творческого выступления Мандельштама. Выступление это состоялось в начале 1933:

«Не было ни анонсов, ни афиш, — никакой рекламы. Но довольно вместительный зал оказался набит битком. Молодежь стояла в проходах, толпилась в дверях.

Мандельштам читал, не снижая пафоса; как всегда, он стоял с закинутой головой, весь вытягиваясь, — как будто налетевший вихрь сейчас оторвет его от земли. Волосы, сильно уже поредевшие, все так же непреклонно вздымались над крутым и высоким лбом. Но складки усталости и печали легли уже на этот чистый лоб мечтателя.

“Он постарел!” — говорили в толпе. — “Облезлый какой-то стал! А ведь должен быть еще молод...”

Мандельштам читал о своем путешествии по Армении — и Армения возникала перед нами, рожденная в музыке и в свете. Читал о своей юности: “И над лимонной Невою, под хруст сторублевой, мне никогда не плясала цыганка”, — и казалось, что не слова сердечных признаний, а сгустки сердечной боли падают с его губ. Его слушали, затаив дыхание, — и все росли, все усиливались аплодисменты.

Но по залу шныряли какие-то недовольные люди. Они иронически шептались, они морщились, они пожимали плечами. Один из них подал на эстраду записку. Мандельштам огласил ее: записка была явно провокационного характера. Осипу Эмильевичу предлагалось высказаться о современной советской поэзии. И определить значение старших поэтов, дошедших до нас от предреволюционной поры.

Тысячи глаз видели, как Мандельштам побледнел. Его пальцы сжимали и комкали записку... Поэт подвергался публичному допросу — и не имел возможности от него уклониться. В зале возникла тревожная тишина. Большинство присутствующих, конечно, слушало, с безразличным любопытством. Но были такие, которые и сами побледнели. Мандельштам шагнул на край эстрады; как всегда — закинул голову, глаза его засверкали...

— Чего вы ждете от меня? Какого ответа? (Непреклонным певучим голосом): — Я — друг моих друзей!

Полсекунды паузы. Победным восторженным криком:

— Я — современник Ахматовой!

И — гром, шквал, буря рукоплесканий».

Этот рассказ не нуждается в комментариях. Мандельштама — робкого, якобы легко приспособляющегося, якобы за себя боящегося — он рисует в самом привлекательном свете.

Тот же автор рассказывает еще один эпизод из жизни Мандельштама, относящийся уже к 1933–1934 — эпизод довольно тяжелый. Мандельштам в эти годы жил в Москве (Москвой помечена большая часть стихотворений 1931–1934; но часть лета 1933 Мандельштам, очевидно, провел в Старом Крыму; до этого, в 1928, Мандельштам жил в Ялте — по-видимому, ради здоровья жены). Отношение к нему в московских литературных кругах было недружелюбное. Из одного случайно известного в отрывках письма его видно, что с целым рядом писателей, в том числе с Асеевым, Лидиным, Бенедиктом Лившицем, он порвал личные отношения. До его знакомых в Ленинграде все чаще доходили слухи о каких-то недоразумениях вокруг Мандельштама, о постоянных ссорах из-за пустяков, о преувеличенно болезненной раздражительности с его стороны. Он производил впечатление человека с глубоко пораженной психикой. Материальные дела его в начале 1930-х тоже были плохи (одно время он, правда, работал в газете «Вечерняя Москва», ведя занятия с рабкорами). В какой-то момент до его друзей в Ленинграде дошел слух, что писатель Саркис Амирджанов (он же Сергей Бородин, когда-то член группы «Перевал», а впоследствии автор популярного романа о Дмитрие Донском) учинил дебош в квартире Мандельштама и оскорбил его жену. Историей этой занялся товарищеский суд под председательством А.Н. Толстого. Суд этот вынес какую-то двусмысленную резолюцию, которую можно было истолковать так, что, мол, Мандельштамы сами виноваты. Рассказываемый Е. Тагер эпизод имеет отношение к этой истории. Она предваряет свой рассказ словами: «Не все хочется вспоминать. Но из песни слова не выкинешь». Мандельштамы приехали в Ленинград (это было, по-видимому, весной 1934), и Е.М. должна была встретиться с ними в Ленинградском издательстве писателей. Когда она подходила туда, дверь издательства внезапно распахнулась, из нее выбежал Мандельштам, чуть не сбив Е.М. с ног, а за ним его жена. Они сейчас же скрылись из виду. Когда ошарашенная этим Е. М. вошла в издательство, она окончательно оторопела:

«То, что я увидела, — напомнило последнюю сцену “Ревизора” по неиспорченному замыслу Гоголя. Среди комнаты высилась мощная фигура А.Н. Толстого; он стоял расставив руки и слегка приоткрыв рот; неописуемое изумление выражалось во всем его существе. В глубине, за своим директорским столом застыл И. Хаскин с видом человека, пораженного громом. К нему обратился всем корпусом Гриша Сорокин, как будто хотел выскочить из-за стола и замер, не докончив движения, с губами, сложенными, чтобы присвистнуть. За ним Стенич, как повторение принца Гамлета в момент встречи с тенью отца. И еще несколько писателей, в различной степени и в разных формах изумления, были расставлены по комнате. Общее молчание, неподвижность, общее выражение беспримерного удивления, — все это действовало гипнотически».

На вопрос Е.М., что случилось, ей ответили, что Мандельштам ударил по лицу А.Н. Толстого. Войдя и увидев Толстого, он подошел к нему с протянутой рукой. Намерения его были до того неясны, что Толстой даже не отстранился. Подойдя к нему и дотянувшись до него (те, кто видел и знал обоих писателей, могут представить себе эту картину), Мандельштам «шлепнул слегка, будто потрепал его по щеке, и произнес в своей патетической манере: “Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены”». Очевидно, сразу после этого Мандельштам выбежал вон. Настроение большей части собравшихся в издательстве писателей было явно не в пользу Мандельштама, они хотели суда над ним, просили Толстого дать им доверенность на ведение дела. Один из писателей поднял даже вопрос о подаче жалобы в народный суд. Толстой подавать в суд отказался. Но, как пишет Е.М., «все жаждали крови, всем не терпелось как можно скорее, как можно строже засудить Мандельштама. Никто не вспомнил о его больных нервах, о его трудной жизни, о его беспримерном творчестве». Суд над Мандельштамом, по-видимому, все же не состоялся или кончился ничем. Но совсем скоро поэта ожидали другие и куда более серьезные испытания.

За границей давно уже ходили слухи, что совершенно исчезнувший с литературной сцены Мандельштам был в 1934 арестован. Арест этот сначала связывался с какими-то неосторожными словами по поводу убийства Кирова, потом — с эпиграммой, которую Мандельштам якобы написал на Сталина и которая стала ходить по рукам (в связи с этим в разных вариантах рассказывалось о таинственном звонке из Кремля, от самого Сталина, Б. Пастернаку с запросом о Мандельштаме). О дальнейшей судьбе Мандельштама толком ничего не было известно. Советские справочники молчали о нем, из истории литературы имя его было вычеркнуто. Распространился был слух, что его, как еврея, расстреляли во время войны немцы в одном из захваченных ими «исправительно-трудовых» лагерей. Назывался даже в этой связи Елец. Потом стали говорить, что он умер где-то по дороге в ссылку на Дальний Восток. Только с конца 1950-х разными путями стали проникать на Запад более или менее достоверные сведения о Мандельштаме, а также рукописные и машинописные списки его стихов, ходивших по рукам в России (с другой стороны с Запада в Россию проникло нью-йоркское издание сочинений Мандельштама, давно недоступных советскому читателю, вызвав большой интерес среди все еще многочисленных поклонников поэта). Сейчас картина судьбы Мандельштама, если и не стала известна во всех подробностях, более или менее прояснилась.

Еще до происшествия с Толстым, описанного выше, Мандельштамы получили в Москве квартиру в Нащокинском переулке. Впрочем, почти наверное это была не целая квартира, а только жилплощадь в квартире, в которой жили и другие — и, может быть, сомнительные — жильцы: недаром в стихотворении, написанном в ноябре 1933, Мандельштам «воспел» это «московское злое жильё», в котором «стены проклятые тонки»:

И вместо ключа Ипокрены
Домашнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

И друзьям Мандельштама, да и самим Мандельштамам могло казаться, что бродячая жизнь кончилась. Из уже упоминавшихся, дошедших до заграницы в отрывках воспоминаний А. Ахматовой мы узнаем, что у О.Э. в это время завелись книги — главным образом старинные издания итальянских поэтов (он тогда переводил Петрарку, изучал Данте; несколько его переводов из Петрарки сохранилось среди стихотворений последних лет его жизни). Но как будто бы обретенное временное благополучие было лишь видимым. Как говорит Ахматова, «тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме». Злое московское жильё вскоре оправдало свою «зловещесть», и в его «халтурные стены» ворвалась струя даже не домашнего страха, а настоящего ужаса — предвестника еще худших ужасов тех черных лет, которые так замечательно «воспела» та же Ахматова в своем «Реквиеме». 13 мая 1934 года на квартиру в Нащокинском переулке явился наряд ГПУ с ордером, подписанным самим Ягодой. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихов. Нашли, между прочим, стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков» — Мандельштам не отрицал своего авторства. В семь часов утра Мандельштама увели — вероятно, на Лубянку. Из разных источников известно, что Б. Пастернак тогда же ходил просить за Мандельштама к Бухарину, а А. Ахматова — к Енукидзе, который в то время был управляющим делами Совнаркома, а впоследствии сам оказался, как и Бухарин, одной из жертв сталинских чисток. Может быть, эти хлопоты возымели частичный результат. Вскоре стало известно, что Мандельштам «приговорен» к трем годам ссылки в Чердынь, небольшой городок к северу от Соликамска, недалеко от верховья Камы. «Приговор» по сравнению с тем, что ожидало многих писателей в последующие годы, был довольно снисходительный. Среди стихотворений Мандельштама, написанных в Воронеже, есть несколько с упоминаниями Камы, Урала и другими отголосками этой первой ссылки. В одном из них есть строки:

Упиралась волна в сто четыре весла,
Вверх и вниз, на Казань и на Чердынь несла.

Известно, что в Чердыни Мандельштам покушался на самоубийство, выбросившись из окна больницы, где он тогда содержался, и сломал себе при этом руку. Жена его, сопровождавшая его в ссылку, послала телеграмму в ЦК, после чего якобы сам Сталин велел пересмотреть дело Мандельштама и разрешил ему выбрать другое место ссылки (именно с этим как будто был связан телефонный звонок Сталина Б. Пастернаку). Мандельштам, очевидно, сам выбрал Воронеж. Чем он руководился в этом выборе — и мог ли он выбирать любой город — мы не знаем. Может быть, историко-литературными ассоциациями Воронежа (Кольцов, Никитин, Станкевич). А может быть тем, что в Воронеже выходил когда-то журнал «Сирена», в котором была напечатана его статья «Утро акмеизма».

Когда именно Мандельштам попал в Воронеж, мы тоже не знаем. Среди дошедших до Запада стихотворений последнего периода первые, помеченные Воронежем, датированы «Апрель 1935». Перед этим в датах — большой пробел: стихотворениям, помеченным апрелем 1935, непосредственно предшествуют стихотворения, написанные в Москве и помеченные февралем 1934. Трудно представить, однако, чтобы Мандельштам больше года не писал стихов. Возможно, что при обыске в мае 1934 у него были отобраны все недавно написанные стихотворения, и потому они не сохранились, а после ареста и ссылки в Чердынь он либо не писал стихов, либо же их у него отбирали.

В декабре 1935 Мандельштам провел несколько недель в Тамбове. У него открылось сердечное заболевание, и его отправили туда на осмотр и лечение. Пребывание в Тамбове отразилось в его стихах.

Есть основания полагать, что трехгодичный срок ссылки был в случае Мандельштама довольно строго соблюден и что в мае 1937 он и его жена возвратились в Москву в то же самое «злое жилье». Подробностей жизни Мандельштама в период трехлетней ссылки в Воронеже мы не знаем. Хотя в стихах воронежского периода многое явно навеяно личными переживаниями, ни одно из них не является беспримесно автобиографичным. По-видимому, большую часть времени — если даже не все время — Мандельштам жил на вольной квартире. Под конец ссылки его даже имели возможность навестить некоторые старые друзья. Имел он и возможность переписываться. Но полный свет на этот период жизни Мандельштама будет пролит только тогда, когда его вдова получит возможность опубликовать свои воспоминания и когда станут известны его письма из Воронежа. До нас случайно дошло одно такое письмо, обращенное к Ю. Тынянову. Письмо всего в несколько строк, но строки эти весьма многозначительны. Вот что писал Мандельштам из Воронежа в январе 1937:

«Пожалуйста не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе...»

По одним сведениям — летом, по другим — осенью (а может быть и дважды), Мандельштамам удалось съездить в Ленинград и повидать старых друзей. Вот как об этом приезде (она приурочивает его к лету) рассказывает Е. Тагер:

«Мандельштам приехал с тетрадкой стихов “Воронежского цикла”, покорила друзей их взволнованной музыкой. По инициативе Стенича была сделана небольшая складчина, — друзья собрали немного денег, белья, вещей, ибо Мандельштам был без копейки, он обносился, ходил чуть ли не босиком.

Настала минута прощанья. Несколько близких собрались на Московском вокзале. Мандельштам со своей “нежняночкой” спешили навстречу лишениям, навстречу, может быть, гибели. Имущество Осипа Эмильевича было увязано в неказистый узелок. В ожидаемом зале возвышалась искусственная пальма трактирного типа. На ветвь этой пальмы Мандельштам повесил свой скудный узелок и, обратившись к Стеничу, сказал: “Странник в пустыне!” Друзья смеялись и плакали. Бедный узелок на пальме — в этом образе вдруг сконцентрировалась судьба поэта, его странническая неумолимая судьба. И как было тут не вспомнить вещие слова другого великого русского поэта:

Странником в мире ты будешь.
В этом твое назначенье,
Радость-Страданье твое...»

Е. М. Тагер прибавляет:

«В скором времени в Ленинграде узнали, что Мандельштам находится в заключении. И вот, слухи о нем прекратились».

Мандельштам был арестован во второй раз почти ровно через четыре года после первого ареста — 2 мая 1938. Он находился в то время в санатории для нервнобольных на ст. Черусти (недалеко от Москвы?). Точные обстоятельства, при которых произошел этот второй арест, нам неизвестны. Вероятно, и в России их знают только самые близкие к поэту люди. В напечатанных в СССР воспоминаниях о последних годах жизни Мандельштама (например, в воспоминаниях Николая Чуковского в журнале «Москва») много неточного и просто неправильного. Е. Тагер об этом последнем этапе жизни Мандельштама рассказывает очень кратко и с чужих слов. В полученном Г. Стуковым из России рассказе о последних днях Мандельштама, воспроизведенном им в упомянутой уже статье в «Мостах», содержится несомненная ошибка, поскольку там говорится, что Мандельштам был арестован вместе с другими ссыльными в Воронеже, осужден на пять лет и «этапирован» во Владивосток. Имеющиеся у нас сведения о том, что из воронежской ссылки Мандельштам вернулся и что он был вновь арестован спустя почти год, не подлежат сомнению. Но в остальном приведенный Г. Стуковым рассказ, судя по всему, заслуживает доверия и подтверждается из других источников. Согласно этому рассказу, во Владивостоке Мандельштам застрял — в ожидания открытия навигации — очевидно, для отправки в Магадан или другой какой-нибудь лагерь, для которого Владивосток служил транзитным пунктом. Остальной рассказ, основанный на сведениях, полученных от лиц, бывших в то время во Владивостоке, процитируем по статье Г. Стукова:

«Еще в этапе он стал обнаруживать признаки помешательства. Подозревая, что начальство (этапный караул) получило из Москвы приказ отравить его, он отказался принимать пищу, которая состояла из хлеба, селедки, шей из сушеных овощей и иногда пшена. Соседи уличили его в хищении хлебного пайка и стали подвергать зверскому избиению, пока не убедились в его безумии. На владивостокской транзитке сумасшествие О.Э. приняло еще более острые формы. Он боялся отравления, похищал продукты у соседей по барaku (он считал, что их пайки не были отравлены), его стали снова зверски избивать. Кончилось тем, что его выбросили из барака, он жил около сорных ям, питался отбросами. Грязный, заросший седыми волосами, длиннородый, в лохмотьях, безумный, он превратился в лагерное пугало. Изредка его подкармливали врачи из лагерного медпункта, среди которых был один известный воронежский врач, любитель стихов, хорошо знавший Мандельштама».

Сведения эти были сообщены лицом, получившим их из вторых рук. Может быть, и не все в них точно. Лицу, сообщившему эти сведения, не было известно, например, когда именно умер Мандельштам. Смерть Мандельштама он приурочивал к весне 1938. С другой стороны, Илья Эренбург, едва ли не первый заговоривший в советской печати о Мандельштаме после многих лет заговора молчания вокруг его имени, в первой версии своих мемуаров, напечатанной в «Новом Мире», со слов какого-то советского агронома, бывшего во Владивостоке в те годы (тоже в ссылке?), называл датой смерти Мандельштама 1940. В отдельном издании мемуаров Эренбурга дата эта была исправлена на 1938. Сейчас известно, что Мандельштам скончался во Владивостоке 27 декабря 1938.

Точные обстоятельства, при которых он умер, до сих пор неизвестны, а может быть, никогда и не станут известны (большинства свидетелей его смерти, наверное, нет в живых, а те, кто еще жив — например, из лагерного начальства — едва ли расскажут то, что им известно). Но даже если рассказ, преданный огласке Г. Стуковым, не во всех деталях точен, в основном он несомненно соответствует действительности. Замечательный, большой русский поэт кончил жизнь как «лагерное пугало», а может быть и как помешанный.

За границей стало известно одно письмо Мандельштама из лагеря во Владивостоке. Оно адресовано брату Александру и жене. Даты на нем нет. При напечатании было сказано, что оно датируется двадцатыми числами октября 1938. Из письма мы узнаем некоторые точные факты, относящиеся к самой последней фазе жизни поэта. В Москве он сидел в Бутырьках. Приговорен был, по решению ОСО (Особого Совещания при Народном Комиссариате Внутренних Дел) к пяти годам (лагеря) «за контрреволюционную деятельность». Москву Мандельштам покинул по этапу 9 сентября, во Владивосток прибыл 12 октября. О себе Мандельштам пишет в письме (в котором нет никаких признаков помешательства) следующее:

«Здоровье очень слабое, истощен до крайности, исхудал, узнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги — не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей...

Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка...

Последние дни ходили на работу. Это подняло настроение. Из лагеря нашего, как из транзитного, отправляют в постоянные. Я очевидно попал в “отсев” и надо готовиться к зимовке...»

Как писал Г. Стуков в уже цитировавшейся статье,

«После смерти Блока и Гумилева Максимилиан Волошин написал известное стихотворение о трагической судьбе русских поэтов. Но никакое самое необузданное воображение не могло ему нарисовать страшную судьбу его друга — столь ценимого им, как поэта — Осипа Эмильевича Мандельштама, который незадолго до написания этого стихотворения гостил у него в Коктебеле!»

И которому — прибавим от себя — он без труда выхлопотал освобождение от арестовавшей его врангелевской полиции или контрразведки.

Мы не знаем, продолжал ли Мандельштам писать стихи в тех условиях поистине звериной жизни и в том состоянии умственного и душевного расстройств, в которых он оказался во Владивостоке. Последние по датам его стихи относятся к маю 1937, то есть ко времени до второго ареста. Если были более поздние, они до нас не дошли.

В Советском Союзе, где жизнь Мандельштама окончилась смертью, которую почти можно назвать насильственной, над ним учинили и литературную казнь.

Только с начала 1960-х Мандельштама начали понемногу «воскрешать» и печатать.

< ... >

Лондон, июль 1964 — август 1967